

Елизавета Иванникова. Крыльцо. Стихи. (Первая книжка поэта). Волгоград, Нижне-Волжское книжное изд-во, 1978.

Что осталась, война, от тебя,
Что осталось?
От большого пожара земля
Отдышалась...

Этими строками начинается первая книга молодой волгоградской поэтессы Елизаветы Иванниковой. Несмотря на традиционность подхода к теме, строки привлекают искренностью интонации, взволнованностью.

...Для отца пять столетий войны
Отшумели.
Помню место особое белой стены
Для шинели.

Возникшая внезапно деталь — «особое место для шинели» — высвечивает все стихотворение, придает ему достоверность. Поэтический рассказ об отцовской шинели, «пережившей» платя из ситца, перестает быть данью традиционности. Он становится частью судьбы, может, пока неброской, но единственной — судьбы лирической героини Елизаветы Иванниковой.

Вчитываясь в строки,ходишь в мир как будто бы привычный, но понимаешь, что многого ты в этом мире не замечал. И деревенский двор, «мощенный солнцем», по-особому привлекателен, и пристани волжские, увлеченные движением воды, «готовы отчальить».

Елизавета Иванникова любит природу и умеет по-своему рассказать о ней. Но взгляд поэтессы не созерцателен. Остановившаяся на окружающем, он затем продолжает движение вглубь, в суть явлений. Медленно наступающий ночной сумрак рождает почти афористичные строки:

Так много надо засветло увидеть,
Чтобы с пути не сбиться в темноте.

Парение снега, шорох листвы, хруст ветвей существуют в стихах Иванниковой не сами по себе. Они помогают раскрыть внутренний мир лирической героини, ее доброту и честность, зоркость и доверчивость.

Молодая поэтесса умеет говорить о привычном своими, необычными словами. Строки ее, то романтично приподнятые, то «приземленные», создают зримую картину.

Елизавета Иванникова, видимо, немало ездила по стране. Она знает и Север, и родное Поволжье. Но движения для нее — не просто перемеще-

ние в пространстве, а стремление углубить поэтическую мысль:

Я хотела постичь превращенье
Подступившего чувства — в слова...

И еще хочется отметить одно свойство лучших стихов книги: постоянное чувство неуспокоенности, завидное недовольство собой. «Я перед тем, что пройдено, в долгу», — пишет Елизавета Иванникова. И этим словам веришь, потому что во многих строках — жажда совершить что-то большое, настоящее.

В этой интересной, своеобразной книге встречаются и творческие просчеты. Литературная неопытность автора порой чревата искусственными образами, неуклюжими строками («Необъяснимо наваждение ночи без горизонта, без звезды, без дня». Или: «Витали звезды в дебрях мирозданья, там, за туманом, их текла возня...»).

Нередко разрушают строфу небрежные рифмы («дни — войны», «блиндаж — у нас», «тебя — земля»).

Но голос одаренности заглушает неверно взятые ноты. И, как справедливо заметил в предисловии к сборнику поэт Юрий Окунев, «такая первая поэтическая книга говорит нам не просто о надежном начале — она раскрывает в полном объеме проникновенную молодость поэтессы». И не случайно «Крыльцо» было отмечено в 1978 году премией на Всесоюзном конкурсе на лучшую первую книгу, организованном Госкомиздатом СССР, ЦК ВЛКСМ, Союзом писателей СССР и ЦК профсоюза работников культуры.

В одном из последних стихотворений сборника есть такие строки:

...Я приду с особой, личной
Тихой новостью своей.

Эта «личная тихая новость» интересна, она волнует, она подготавливает нас к новым встречам со стихами Елизаветы Иванниковой.

Елена Нестерова.

Владимир Тендряков. Расплата. Повесть. Журн. «Новый мир», 1979, № 3.

«В глубине дома номер шесть по улице Менделеева во втором часу ночи раздался выстрел».

Вот так, с середины, с кульминационного события начинается повесть Владимира Тендрякова «Расплата». У выстрела большая драматическая предыстория, и еще более важные события происходят потом. Картины

прошлого и настоящего чередуются между собой, создавая необычное впечатление смещаемости времен: то недалекое, когда ничего страшного еще не случилось и когда выстрел мог быть предотвращен, то и дело становится настоящим не только для героев, но и для читателя — и требует вмешательства.

Мальчик убил отца. Но не мальчик — злодей, садист, нравственный урод, в основе поступков которого лежат бездуховность (такие чаще становятся преступниками), а злодеем и нравственным уродом был его отец. Мальчик совершил убийство, защищая от пьяного отца мать. Никакой нечаянности в этом не было: он хотел убить, порывался это сделать и раньше, заряжал ружье, мать разряжала, а он заряжал снова. На этот раз он зарядил его за полчаса до прихода отца. И на допросе у следователя не скрывает этого, не пробует защищаться, наоборот, уверяет: да, знал, да зарядил, да, готовился... «Мать в кухню — ну, я к ружью. А патроны у меня припасены, сунул в оба ствола, закрыл, повесил».

Невиданный случай: преступник сам выставляет себя преднамеренным убийцей, хотя никто даже не подозревал его поначалу в этом преступлении, никто не требует от него таких саморазоблачительных признаний, а все, от матери и товарищей до следователя, считают его лишь невольным виновником и стараются облегчить его участь, смягчить наказание. Одноклассники даже гордятся им: «убил, чтобы жить», поставил себя под удар, пошел на то, чтобы искалечить свою жизнь, но защитить мать и покарать злодея! Совершил благородный поступок, а не преступление.

Может быть, и сам мальчик считает так? Оттого и выставляет свою вину напоказ, что защищаться считает ниже своего достоинства? Гордый пятнадцатилетний человек, самоотверженно взявшийся за решение задачи, которую не могли разрешить взрослые люди, много взрослых людей, и вполне уверенный в себе, твердый в сознании выполненного долга?

Нет, куда там! Его фигура — да не фигура, а жалкая тень! — появляется в дверях квартиры после выстрела, как что-то нереальное, почти потустороннее («насильственные, нечеловеческие движения незрячего существа»). Таким, надломленным, мы видим его и дальше — не человек, а тень того, что было человеком, личностью, духовно наполненной, живущей горячо, увлеченно. Теперь ничего этого нет — перед нами несовершеннолетний преступник, на долю которого отпущено одно только страдание. С этим стра-

данием ему, возможно, никогда не расстаться. «Я видел кровь. Его кровь...»

Мальчик действительно тверд, но не в преступлении, а в абсолютном неприятии его и в отвращении к себе — во всем том, что к нему пришло после выстрела. И от близких он ироничен, требует не сочувствия, а безжалостного суда, от которого ему только и может стать легче. Он требует от матери любви к убитому отцу, он требует от Сони, девочки, которая всегда его понимала и в которую он был влюблен, ненависти к себе — убийце, ужаса перед убийством, перед кровью. «Они дураки», — говорит он об одноклассниках, которые с жаром его защищают. Вполне мальчишеские слова — «они дураки» — звучат у него взросло и выстраданно. Они дураки, те, что могут принять убийство, простить его или оправдать.

Он остается один. У него нет больше матери, нет Сони, раз они не поняли его, нет друзей. «Никого кругом, вот теперь-то совсем никого». Нарушить это одиночество может только один человек... И он приходит к Коле в камеру — убитый отец, с которым можно говорить, которого можно и любить, оказывается...

Такова эта повесть. В ней пятнадцатилетний мальчик — не преступлением, а судом над собой — учит взрослых: не так живете не то делаете, не умеете жалеть, любить.

Отец Коли Корякина с детства, с рождения был словно застрахован от любви. И во взрослой жизни ему «везло» — попадались такие люди, как Пухов, как Людмила... Он бил, избивал жену, он был злой, жестокий человек, очень тяжелый в общении, но чтобы совсем плохой — нет, Коля этому не верит. Он вспоминает об отце и хорошее. «Совсем плохих людей не бывает на свете. Я это только сейчас вот понял».

Трудно определить меру ответственности окружающих и за то, что Корякин-старший был плохим человеком, и за Колин выстрел. Мать, бабка, учитель пытаются взять всю эту ответственность, всю вину каждый на себя, но все равно по полочкам ее не разложишь. Ответственны все. Вины все. Вины все не конкретной, не наказуемой не вписанной ни в какие кодексы виной — всей своей странной, духовно изолированной друг от друга жизнью, невниманием к чужому человеку, к чужому горю.

Но в повести — и светлая вера, что «в каждом нерастратенные запасы человечности». И горький упрек: отчего это вы, люди, сами не хотите увидеть и узнать в себе хорошее?

Не все в этом произведении равнозначно. Так, например, в первых же главах, видимо, специально для того чтобы подчеркнуть проблемный и полемичный характер повести (не просто рассказываем, а спорим!), появляются два героя — носителя противоположных жизненных концепций. Хотя их внешностям и приданы индивидуальные черты, это не запоминается. Все равно они образы-символы, схемы — положительная и отрицательная. Первый из них — Аркадий Кириллович Памятнов, школьный учитель, обучающий детей, кроме своего предмета — литературы, — еще и честности, принципиальности, неприимости ко злу и т. п. Второй, Василий Петрович Потехин (фамилия-то какие!), — человек, прямолинейно проповедующий приспособленчество, невмешательство, подлость, пинизм, расчет, ибо только так, он уверился, можно прожить. Спор, начавшийся между ними и ставший причиной дешевой драмы Аркадия Кирилловича, породивший в нем такую бурю сомнений, переносится дотом в кабинет следователя и в школу, становится целой педагогической дискуссией. Спор этот по меньшей мере странен: стоит ли учить детей добру и активной жизненной позиции, если это может привести к такому вот решительному неприятию зла — убийству. И на школу потом еще ляжет пятно... Обсуждается это на полном серьезе. Слава богу, Аркадий Кириллович приходит, кажется, в конце повести к выводу, что все-таки стоит... Излагается это без тени иронии, с полной симпатией к Аркадию Кирилловичу и уважением ко всей этой сомнительной педагогической суете...

А тем временем пятнадцатилетний Коля Корякин, смертельно уставший от зла — в одном его выстреле этого зла вместились столько, словно прожил он во зле огромную жизнь, — разговаривает в камере с убитым отцом. Не только убийство, любое зло — противоестественно. «Странно, но они никогда в жизни толком не разговаривали, так, перебрасывались словами... или ругались...» В том, что отец был плохим, Коля винит себя. А как было просто... Добро не может привести ко злу. Все плохое в человеке — противоестественно. Убийство, насилие, любое зло — страшно, дико. Добром нужно бороться, добром... «Они никогда не разговаривали толком». Вот оно что.

И Коля разговаривает, разговаривает. В тюремной камере голосом отца звучит ему истина: «Люби все — и росу, и туман, и уток, всех других птиц и зверей. Ведь это так просто —

взять да полюбить. Вот ты меня полюбил, и тебе стало хорошо».

Юлия Латка.

Павел Маракулин. Лесная родина. Книга стихов. М., изд-во «Современник», 1979.

Случилось так, что с кировским поэтом Павлом Маракулиным я познакомился раньше, чем с его стихами. Зимой 1978 года группа ростовских поэтов, в составе которой был и я, приехала по приглашению кировских писателей на вятскую землю.

Суровая, мужественная красота северного края! Впервые я прикоснулся к ней детской душой в далекие военные годы, эвакуированный сюда вместе со своей семьей. И вот — новая встреча с этой землей спустя несколько десятков лет...

Среди тех кировских писателей, с которыми нам довелось семь дней выступать на предпрятнях, в колхозах, школах и библиотеках подшефного Нечерноземья был и поэт П. Маракулин. Высокий, худощавый, по-северному сдержанный, он оживлялся, когда оказывался в своих любимых местах. Восхищенно и подробно рассказывал о здешней природе и людях, обычаях и преданиях, зверях и птицах, обитающих в этих лиственных и хвойных лесах. Я обратил внимание на то, что его знание окружающего мира было конкретным и точным — сказывался путешественник, рыбак и охотник. Тогда-то и услышал я впервые стихи Маракулина в авторском исполнении. Они воспринимались как прямое продолжение его устных рассказов, житейских наблюдений, душевных откровений. Это мое ощущение удостоверено непосредственностью и органичностью поэтических строк. Не покидает оно меня и сейчас, когда я прочитал новую книгу стихов Маракулина. От нее веет запахами снега и хвои, нагретой солнцем древесины, палой дубовой листвы, ароматами северных цветов и ягод.

Глаз поэта остер и точен: «По праздникам лук луговой запекают они в пироги, на скользких обрывах копают червонную глину, и любят, вернее, любил (существенная оговорка — И. Х.) толчком остроги нащупать у щуки в осоке тигриную спину. Дюралевых лодок летит восклицательный рев, по-рыбы блестя над водой тополиные плети...» («Земляки»). Маракулин не жалуется общими словами, отвлеченными рассуждениями. Мож-

но любить не все, что знаешь, но невозможно не знать досконально то, что действительно любишь. «Крупнощипая — прямо с яичко скворца — ступить не дает земляника!» («Наш Север»). Мне кажется, упоение жизнью, вещным миром у Маракулина идет не от бездумности и банального бодрячества, а от трезвого понимания быстротечности времени, вносящего в стихи ноту драматизма: «Жизнь на земле родимой — невыразимое счастье, лишь одного не знать бы — как она коротка!» («Вечное»).

Но поэт знает, помнит об этом, и такая памятьливость рождает у него не унылую, бессильную жалобу, не безразличие, а бойцовскую активность в защите добра: «Пусть только зло одно меня боится, как боевого сокола — змея!» («Гнездо»). Заметим, кстати, как выявлена позиция — не вообще, а языком, присущим именно охотнику, знатоку законов природы. Умение передать общезначимое через такое мироощущение отличает П. Маракулина. Жест, действие в стихах опять-таки подтверждает, что называется индивидуальный опыт, навык, а не расплывчатое представление: «Размашистым движеньем лесоруба, привыкшего работать напролом, я возношу железо ледоруба над матовым нетронутым стеклом» («Подледный лов окуней»). Можно горячо и многократно декларировать свою преданность природе, но читатель не проникнется доверием к таким декларациям, потому что они не обеспечены золотым запасом убедительности.

Гораздо убедительнее следующее:

«Дубовый лист на голубом снегу еще лежит как след от волчьей лапы» («Изображение природы»). Верить поэту, когда он после этих «изображений» обобщает: «И Родину не так бы я любил, когда б не эта красота и воля, когда б на водяном широком поле крылом веселый селезень не бил» («Вы приезжайте к нам по сентябрю...»).

Ловлю себя на том, что все время хочется цитировать строки из «Лесной родины». Останавливает же меня соображение, что не количеством выясняют качество. Отдавая должное многим достоинствам книги, хочется сделать одно принципиальное замечание, имея в виду, что недостатки и слабости — продолжение этих достоинств. Порою конкретные поэтические этюды Маракулина так и остаются этюдами, пусть зримыми и точными, но отдельными штрихами, деталями. Они не срастаются в многомерную картину человеческого бытия, не способствуют выяснению подспудного его смысла и содержания. Такого «плоскостного» изображения для искусства мало. Поэт свою «мыслительную недостаточность», очевидно, чувствует, иначе не стал бы желать себе так настойчиво: «Не говорящим, думающим словом — да станет так — пусть буду я силен» («Ноябрь»). Примечателен здесь глагол «станет».

Присоединимся и мы к этому самопожеланию и понадемся на дальнейший рост поэта, умеющего видеть, слышать, чувствовать землю и людей.

Игорь Халупский.